

Степанов Андрей Дмитриевич

Санкт-Петербургский государственный университет,
Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9
a.d.stepanov@spbu.ru

От поэта безвременья к буревестнику революции: метаморфозы рецепции Чехова*

Для цитирования: Степанов А. Д. От поэта безвременья к буревестнику революции: метаморфозы рецепции Чехова. *Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература*. 2021, 18 (4): 680–696. <https://doi.org/10.21638/spbu09.2021.403>

В статье прослеживается динамика рецепции чеховского творчества и образа писателя в критике 1880–1900-х гг. и ее переработка в сталинские годы советскими литературоведами. Переходный от реализма к модернизму характер текстов заставлял критиков-публицистов сначала негативно оценивать «безыдейность» писателя и «случайность» его поэтики, а затем пытаться представить А. П. Чехова выразителем «тоски по общей идее» и «борцом с пошлостью». При этом тезисы о том, что Чехов устарел или, наоборот, становится актуален, строго коррелировали с периодами застоя/революционной активности. Сходные закономерности наблюдались в советское время. Если в 1920-е гг. достаточно сильны были характерные для авангардистов античеховские настроения, звучала резкая критика со стороны представителей вульгарно-социологического метода, то в послевоенный период возник социальный заказ на то, чтобы вписать творчество сложного писателя-«пессимиста» в догмы истории общественной мысли, сделать его полноправным предшественником советской литературы. Анализируя риторические стратегии В. В. Ермилова, автор показывает, что они структурировались оппозицией «интуитивное стремление к свободе vs подавляющая, исполненная насилия и препятствующая развитию социальная действительность», что логически вело к «чеховскому выводу» о необходимости коренного изменения действительности. С помощью таких приемов «скорбный певец безвременья» на глазах читателя превращался в «буревестника революции». Одновременно с этим решалась и задача вписать Чехова в гуманистическую традицию русской литературы: ему приписывалось сочувствие к маленькому человеку и любовь к человеку труда. Все подобные подмены обычно осуществлялись путем отождествления оценочной позиции автора и героев. Многие черты облика «советского Чехова» восходят к прижизненной критике, и потому устаревшие труды советских ученых могут служить наглядной иллюстрацией процесса культурного ресайклинга, при котором заново перерабатываются казалось бы навсегда отброшенные старые идеи.

Ключевые слова: А. П. Чехов, рецепция, история критики, В. В. Ермилов.

Переходный характер творчества А. П. Чехова, стоявшего на границе двух эпох — классического реализма и новых течений в искусстве, обычно объединяемых зонтичным термином «модернизм», — значительно затруднял работу ин-

* Исследование подготовлено при поддержке РФФ (проект 21-18-00527 «Литература “переходных эпох” как инструмент модернизации социальных связей») в ИРЛИ РАН.

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2021

терпретаторов. Можно сказать, что ни один автор рубежа XIX–XX вв. не вызывал столько споров и полярных оценок, как Чехов. Критики и исследователи расходились даже в самых важных вопросах: был ли писатель религиозен? сочувствовал ли он своим героям или упорно разбивал их надежды? был ли он бытописателем-натуралистом или оказался одним из первых выразителей символистской двуплановости бытия? достоин ли он войти в канон русской классики в одном ряду с «учителями жизни» Достоевским и Толстым? Еще более сложной оказалась задача оценки чеховского творчества с позиций советской идеологии: актуально ли чеховское творчество в условиях строительства нового общества или оно имеет только историческую ценность как объективное свидетельство о неблагополучии прошлого? выразителем интересов каких классов и социальных групп был Чехов? был он пессимистом или оптимистом по отношению к перспективам революции и социального переустройства? достоин ли он войти в официально утвержденный советский канон русской литературы и должны ли у него учиться советские писатели? На эти вопросы давались различные, часто прямо противоположные ответы. Промежуточное положение между двумя культурными парадигмами и системами ценностей делало чеховские тексты открытыми для самых разных вчитываний смыслов, каждое из таких вчитываний отражало идеологию своей эпохи, и метаморфозы восприятия Чехова представляют собой своего рода краткую историю смены ценностных установок критики и литературоведения по отношению к проблеме социальных функций литературы.

Надо оговориться, что при всем разнообразии подходов у «досоветской» и «советской» рецепции Чехова была одна несомненная общая черта: читающая публика ценила и любила писателя независимо от суждений критики и литературоведения. Изучив и систематизировав все доступные источники по формированию литературной репутации Чехова до 1917 г., Л. Е. Бушканец пришла к глобальному выводу: эта репутация создавалась в результате конфликта «между профессиональной литературной критикой, которая увидела многие важные стороны его поэтики и его мировоззрения, однако не приняла их как значимую для культуры ценность, — и интеллигентным читателем», причем «роль и влияние критики были не решающими»; главным фактором оказалось то, что «современники увидели в его творчестве свои настроения» [Бушканец 2013: 19, 533]. Действительно, как выразился В. В. Розанов, «в Чехове Россия полюбила себя» [Розанов 2002: 870], и произошло это не благодаря и не вопреки, а независимо от инвектив и/или похвал поздних народников и ранних марксистов. Не нужно проводить специального исследования, чтобы сделать аналогичный вывод по отношению к советской эпохе: разумеется, в сталинские годы и в более позднее время чеховское творчество оставалось для многих отдушиной отнюдь не вследствие чтения книг В. В. Ермилова и Г. П. Бердникова, хотя основные положения их концепций утвердились в официальном дискурсе и широко тиражировались в предисловиях к массовым изданиям, педагогической практике, юбилейных речах и статьях (которых только в год столетия Чехова вышло более двух тысяч [Ошарова 1960]). Школьники писали идейно выдержанные сочинения по «Вишневому саду» о разорении помещного дворянства и приходе новых социальных сил, но интеллигентный читатель по-прежнему читал Чехова оттого, что чувствовал «чеховское настроение» или, возможно, искал в глубоко драматическом чеховском мире идиллию «потерянной России». Тем не менее

мнения и народников, и марксистов, и сталинистов о Чехове важны для истории рецепции как примеры «очиток» (misreadings) — тех неадекватных прочтений, которые углубляют наше представление о сложности сопротивляющихся им текстов. Наиболее интересным среди этих «очиток» представляется феномен, близкий к понятию «культурного ресайклинга»¹: воспроизведение в советском литературоведении некоторых положений дореволюционной критики Чехова, которые «всплывали» независимо от воли пишущего и даже вопреки прямым заявлениям о том, что «тогдашняя либеральная и либерально-народническая критика была не способна оценить его талант» [Ермилов 1946: 89]. При этом сходными у дореволюционных критиков и советских литературоведов оказывались не столько общественно-политические контексты, сколько решаемые задачи: вписать сложное, сопротивляющееся однозначному истолкованию переходное явление в достаточно простую социологическую схему. В данной статье мы попытаемся проследить основные направления движения рецепции чеховского творчества от прижизненной критики к официальным советским интерпретациям и показать некоторые наиболее важные сходства и различия между этими интерпретативными стратегиями.

Непонимание Чехова критикой конца XIX в. давно стало классическим примером расхождения «внутреннего чувства» интерпретатора (в чеховском таланте не сомневался, кажется, никто) и доступных ему аналитических средств. Напомним основные моменты этих «очиток». Первоначально претензии народнической критики к Чехову (и вместе с ним ко всему новому литературному поколению конца 1880-х гг.) наиболее четко сформулировал Н. К. Михайловский в газетной статье 1890 г. [Михайловский 1890]². С точки зрения маститого публициста, молодой автор был виновен в трех грехах: во-первых, в скептицизме, неверии в общественные идеалы 1860-х гг. и неспособности предложить вместо них какие бы то ни было другие³; во-вторых, в «фотографизме», неразборчивости и неумении отделять важное от неважного, что приводило к разрушению одной из основ реализма — «типичности»; и в-третьих, в равнодушии к изображаемому миру, отсутствии четкой авторской позиции, которая (по Чернышевскому) должна получать выражение в прямых оценках и адресованных читателям императивах⁴. Ученики и последователи Ми-

¹ Значительная часть работ, посвященных культурному ресайклингу, касается проблематики памяти и творческого потенциала повторов в литературе и искусстве [Neville, Villeneuve 2002; Dika 2003; Kalaga et al. 2008], причин возвращения моды на забытые было культурные явления и стили [Guffey 2006] или на творческую переработку наследия того или иного автора средствами театра и кинематографа [Marovitz 1991]. Однако не меньший интерес представляют сходные явления в рамках метакритики: академические традиции преемственности, ученичества и научных школ приводят к тому, что господствующие интерпретации почти всегда опираются на суждения ближайших предшественников (или отталкиваются от них). Однако после политических и культурных революций преемственность обычно прерывается, старые концепции отправляют «на свалку истории», откуда они, тем не менее, могут быть извлечены при новой смене культурной ситуации и научной парадигмы.

² Статья «Письма о разных разностях» в дальнейшем перепечатывалась в сборниках сочинений Михайловского под названием «Об отцах и детях и о г-не Чехове».

³ Сам писатель был в целом согласен с этим положением, достаточно вспомнить данную им характеристику своего литературного поколения в письме к А. С. Суворину 1892 г.: «Мы пишем жизнь такою, какая она есть, а дальше — ни тпру ни ну... Дальше хоть плетями нас стегайте. У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей...» [Чехов 1974–1983, Письма, т. 2: 133].

⁴ Ср. знаменитую инвективу: «Г-ну Чехову все едино — что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца...» [Михайловский 1890]; то же явление одновременно осмыслялось бо-

хайловского — прежде всего М. А. Протопопов и П. П. Перцов — развивали и уточняли эти положения даже после поездки Чехова на Сахалин, когда слава писателя упрочилась и он стал желанным автором «Русской мысли» и других либеральных изданий [Протопопов 1892; Перцов 1893]. Однако постепенно социологическое значение чеховского творчества начало пересматриваться. Тот же Михайловский первым выдвинул ставший впоследствии чрезвычайно популярным тезис о том, что не имеющий «общей идеи» Чехов выражает тоску людей безвременья по «общей идее». В соответствии с этим визитной карточкой писателя сделалась «Скучная история», к которой критики обращались намного чаще, чем к другим чеховским произведениям, а приписанные автору слова героя об отсутствии у него «общей идеи» стали самой расхожей цитатой в дореволюционной чеховиане. В 1900 г. тот же Михайловский ввел в критическую практику еще одно понятие, которому была суждена долгая жизнь: в статье «Кое-что о г. Чехове» он указал на общий знаменатель пестрых рассказов писателя — изображение пошлости [Михайловский 1900]. Любопытно, что, обнаружив эту доминанту, критик словно по мановению волшебной палочки забыл обо всех «изъянах», которые он находил у Чехова раньше. Разбирая в той же статье старый чеховский рассказ («Муж», 1886), Михайловский уже не видел в нем ни скептицизма, ни фотографизма, ни равнодушия: этические оценки, с его точки зрения, оказывались однозначны, случайные детали отсутствовали, все подробности работали на характеристики героев и развитие сюжета, мотивы поведения персонажей подробно разъяснялись, авторское отношение к происходящему не вызывало сомнений и т. д. В дальнейшем, после признания Чехова великим, уже не только Михайловский, но и вся критика забудет о тех «грехах» (а на самом деле новаторских чертах поэтики, отмеченных, но не оцененных первыми критиками), которые она вменяла в вину начинающему автору; переосмыслены эти черты будут только через семьдесят лет в работах А. П. Чудакова, прямо опиравшегося на раннюю чеховскую критику [Чудаков 1971: 174–181; 1986: 172–177].

«Пошлость» оказалась чрезвычайно удобным инструментом анализа: под это понятие можно было подводить и смысл «ненужных» деталей, и характерные для чеховской прозы и драматургии долгие разговоры «ни о чем», и стремление изображать «среднего» человека в условиях повседневности, и множество других повторяющихся тем и мотивов. И неслучайно именно эту доминанту перехватил у Михайловского Горький в написанных после смерти Чехова мемуарах, которые сразу после публикации стали знаменитыми, а при советской власти — каноническими⁵. Не было советского человека, который хоть раз не слышал бы этих слов: «Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным, острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском...» [Горький 1986: 448]. Доминанте «разоблачения пошлости» подчинено в горьковском тексте все: портреты неизменно пошлых посетителей больного Чехова, его насмешли-

лее благожелательно настроенными критиками (Р. А. Дистерло, Д. С. Мережковский) как чеховский «пантеизм».

⁵ Горький и сам написал воспоминания, и сподвиг к созданию монументов новому классику своих товарищей-«знаниевцев». В результате в начале 1905 г. вышло два сборника памяти Чехова («III сборник т-ва “Знание” за 1904 год» и «Нижегородский сборник»); в первом из них были напечатаны мемуары Бунина и Куприна, во втором — самого Горького.

вый юмор, его понимание трагизма «мелочей жизни», его человечность, его протест против рабства и «тусклого хаоса мещанской обыденности». Чеховский образ здесь несомненно идеализирован, причем техника этой идеализации у Горького на протяжении многих лет мало менялась. Чтобы в этом убедиться, достаточно сопоставить горьковские воспоминания о Чехове, написанные в 1904 г. и дополненные в конце 1923 г., и очерк о Ленине, созданный после смерти вождя в начале 1924 г. Очень похоже, что основные черты «милого Ильича» списаны с Чехова. В обоих очерках действуют господа с бородками, с вечно насмешливо прищуренными глазами, постоянно проявляющие заботу о больных товарищах (Ленин щупает простыни рабочих — «не сырые ли?», Чехов без конца говорит о положении учителей и устраивает их на лечение в Ялту). Оба ненавидят современное общественное устройство, но при этом проявляют сострадание к отдельным людям, оба знают все мерзости жизни, но остаются мечтателями, верящими в светлое будущее, оба выше всего на свете ценят труд и трудового человека, оба отличаются необыкновенной простотой в общении и неиссякаемым интересом к обычным людям⁶.

«Пошлость» была не единственной доминантой, к которой критики сводили смысл чеховских рассказов и пьес; в 1900–1910-е гг. один за другим предлагались новые «общие знаменатели»: безволие среднего интеллигента, бессознательность зла, гибель мечты, скромность и отсутствие пафоса, «футлярность» и т. д. Некоторые из них впоследствии повторялись советским литературоведением (больше всего повезло «футлярности»), другие оказывались не к месту, но «пошлость» доминировала всегда.

Помимо «литературной» рецепции была, конечно, и театральная. Для интеллигенции начала века Чехов был неотделим от мхатовских спектаклей с их расчетом на узнавание зрителями обстоятельств собственной жизни, натуралистической детализацией, «настроением» и «реалистической» символикой. К числу явлений, сопровождавших славу Чехова и МХТ, относился и поток пародий и фельетонов, по преимуществу обыгрывавших т. н. «чеховщину» — пессимистические темы и настроения, бессилие героев и т. д. Впрочем, после смерти писателя самой заметной стороной рецепции стало формирование чеховского мифа, которое происходило не столько под влиянием критики или театральных постановок, сколько под воздействием тех факторов, которые открывали широкой публике Чехова-человека: огромного потока мемуаров⁷, выхода подготовленного М. П. Чеховой издания шеститомника чеховских писем, появления целого ряда художественных произведений, где Чехов выступал в качестве прототипа, и др.

К десятилетию со дня смерти писателя его массовый «житийный» образ полностью сформировался. Он включал в себя в качестве обязательных элементов портрет кисти Осипа Бразда, цитаты о «выдавливании раба» и о том, что «в человеке все должно быть прекрасно», рассказ о поездке врача-общественника на Сахалин, краткое изложение врачебной, земской и благотворительной деятельности

⁶ Есть в двух очерках и почти дословные совпадения, ср.: «Смеясь, он (Чехов. — А. С.) именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы мог еще смеяться так — скажу — “духовно”»; «Никогда я не встречал человека, который умел бы так заразительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич» [Горький 1950: 433; 1952: 18].

⁷ По подсчетам Л. Е. Бушканец, о Чехове написано около 500 мемуарных текстов, принадлежащих примерно 300 авторам [Бушканец 2012: 150].

писателя в Мелихово и Ялте, перечисление личных качеств, среди которых первое место занимала «милая скромность, чуткая деликатность» (Горький) и указание на веру Чехова в прогресс вплоть до «приветствия» революции на краю гроба. Однако была и другая тенденция. Если сам Чехов оставался любимцем и иконой русской интеллигенции, то его творчество периодически объявлялось «устаревшим», причем поток подобных заявлений совпадал с периодом революционной активности и надежд на перемены. В период революции 1905–1907 гг. одна за другой стали появляться статьи, «хоронившие» чеховских «лишних людей», «слякотные и дряблые души» и признававшие за рассказами и пьесами писателя исключительно историческое значение [Куприн 1905; Воровский 1905; Арцыбашев 1908]. По окончании революции ощущение «актуальности» Чехова вернулось, поскольку стало ясно, что «обывательское начало русской жизни, апатия и стремление жить иллюзиями и пр. — это не порождение политических и социальных обстоятельств 1880-х годов» [Бушканец 2012: 734].

Сходные по большому счету рецептивные закономерности можно проследить и в советский период.

«Советский Чехов» был создан далеко не сразу. Исследования истории этой апроприации до последнего времени сводились к отдельным работам, которые были либо написаны в советский период и несли на себе отпечаток идеологии своего времени [Полоцкая 1981; Семанова 1966; 1985], либо обращались к избранным, актуальным до сего дня чеховедческим работам и не стремились выявить особенности именно официальной рецепции [Сухих 2010]. Однако в самое последнее время была подготовлена к печати большая монография [Зайцев 2021], автор которой стремится именно к полноте — к наибольшему охвату всех концепций и критических суждений о Чехове, высказанных в указанный период. В. С. Зайцев доказывает, что Чехов отнюдь не сразу был причислен к «пантеону» классиков русской литературы и включен в канон великих писателей, издававшихся массовыми тиражами и изучавшихся в школах и вузах. Канонизации предшествовала длительная борьба мнений и ряд неудачных попыток решить сложную, почти невыполнимую задачу: превратить скорбного «певца безвременья» в «буревестника революции». Как показывает исследователь, в 1920-е гг. постепенно оформлялась идея актуальности чеховского творчества для строящегося социализм общества, и Чехова воспринимали — вполне в духе Горького — по преимуществу как союзника в борьбе с пережитками дореволюционного мещанства и пошлости. Наряду с этим в 1920-е гг. еще достаточно сильны были характерные для авангардистов античеховские настроения, звучала резкая критика со стороны представителей вульгарно-социологического метода. В 1930-е гг. благодаря работам А. Б. Дермана, Ю. В. Соболева и А. И. Роскина, а также изданию первого советского собрания сочинений статус Чехова как классика значительно укрепился; на идеологическом уровне его начали воспринимать как союзника, а не только как мастера формы и свидетеля общего неблагополучия дореволюционной эпохи. Большую роль сыграла газетно-журнальная (часто юбилейная) чеховиана, которая, как убедительно показал Зайцев, сводилась к набору готовых тематических блоков-штампов, пригодных для характеристики почти любого кандидата на включение в советский канон истории литературы. Наконец, заключительным этапом «огосударствления» и «канонизации» Чехова стали послевоенные юбилейные материалы и труды В. В. Ермилова.

К этому можно добавить, что мхатовские спектакли после революции многим казались несозвучными времени, несмотря на все усилия исполнителей роли Пети Трофимова «зажечь» зал речами о светлом будущем. В 1920 г. «Вишневы сад» был снят с репертуара МХТ, постановка была возобновлена только в 1927 г. Заметим, что этот спектакль, тем не менее, показывался во время триумфальных зарубежных гастролей театра (в 1922–1924 гг.), которые укрепили всемирную славу Чехова-драматурга и сделали его частью мирового литературного канона. Но в самой постреволюционной России в первое постреволюционное десятилетие отношение новой театральной публики к «мхатовскому» Чехову было прохладным, что ярче всех выразил Маяковский в «Мистерии-буфф» (1921): «Смотришь и видишь — / гнут на диване / тети Мани / и дяди Вани. / А нас не интересуют / ни дяди, ни тети, — / дядя и тетя и дома найдете». При этом нельзя сказать, что мнения и вкусы авангардистов полностью доминировали: они никогда не совпадали со вкусами партийного руководства, причем не только Луначарского, но и Ленина, высоко ценившего и МХТ, и в особенности «Дядю Ваню» [Дурылин 1948]. Но все же в довоенные годы ставились преимущественно «жизнерадостные» и социально-заостренные водевили — от «Свадьбы» Е. Б. Вахтангова (1920) до «33 обмороков» В. Э. Мейерхольда (1935). Не только в литературоведении, но и в театре постепенно намечалось стремление к созданию нового образа Чехова, чуждого «чеховщине» и по-горьковски верующего в нового человека и новую жизнь. Последняя идея нашла выражение и в знаменитом мхатовском спектакле В. И. Немировича-Данченко «Три сестры» (1940), где в финале опускалась цинично-скептическая реплика Чебутыкина: «Тара... ра... бумбия... сижу на тумбе я... Все равно!», — и пьеса заканчивалась взволнованным монологом Ольги о том, как «хочется жить», потому что скоро «счастье и мир наступят на земле».

Сложность создания «оптимистической» трактовки Чехова была очевидна всем: в нее не укладывалась значительная часть раннего и все позднее творчество писателя. Таким образом, у советского литературоведения сам собой возник социальный заказ на решение непростой задачи: надо было вписать творчество «пессимистического» и к тому же ускользающего от прямолинейных трактовок автора в уже утвердившиеся догмы истории русской литературы и общественной мысли, сделать классика полноправным предшественником советской литературы. Полная невозможность не только превратить Чехова в сознательного борца за освобождение рабочего класса, бунтаря и социалиста, но и найти ему какое-то место в истории освободительного движения и представляла собой ту «квадратуру круга», которую должна была преодолеть марксистско-ленинская риторика.

Эта задача была успешно выполнена только во второй половине 1940-х гг., и выполнил ее человек, которого при жизни именовали «Белинским соцреализма»⁸.

В обширном паноптикуме советской критики едва ли можно найти более одиозную фигуру, чем В. В. Ермилов (1904–1965). Уже в шестнадцать лет недоучивший-

⁸ Разумеется, чеховедение советского времени не сводится к работам сталинистов-ортодоксов. В том же году, когда была опубликована книга Ермилова (1946), вышли две наиболее важные для позднейшего осмысления Чехова работы Г. А. Бялого [Бялый 1946] и А. П. Скафтымова [Скафтымов 1946]. Однако, во-первых, нас интересует в данном случае именно «официальный» облик классика, а во-вторых, эти работы, печатавшиеся в малотиражных изданиях (и тем более недоступные советскому читателю работы эмигрантов — П. М. Бицилли, М. Курдюмова, К. В. Мочульского и др.), не могли в то время получить широкого распространения.

ся гимназист редактировал вместе с Л. Л. Авербахом орган МК комсомола — газету «Юношеская правда». В середине 1920-х гг. Ермилов — молодой член партии, ретивый рапповец, автор сборника статей «Против мещанства и упадничества» — борется то с «литературой факта», то с «толстовщиной», то с «кумачовой халтурой», то с «буржуазным идеализмом попутчиков». Секретарь РАППа — Российской ассоциации пролетарских писателей — был глубоко убежден, что пролетарская литература не должна плестись в хвосте литературных процессов, а обязана активно руководить ими, воздействовать на них, и не стеснялся в средствах. Воздействовал он настолько успешно, что единственным из «руководителей» Маяковского был упомянут в предсмертной записке поэта: «Ермилову скажите, что жаль — снял лозунг, надо бы доругаться» [Маяковский 1958б: 199]⁹. Однако ни травля «лучшего и талантливейшего», ни близкая дружба с расстрелянными «врагами народа» Л. Л. Авербахом, В. М. Киришином и А. П. Селивановским не помешали его карьере. В 1932 г., после закрытия РАППа, он быстро перековался, раскритиковав недавних товарищей, не погиб и в годы Большого террора. Всю эпоху сталинизма Ермилов находился на вершинах литературной власти: был секретарем Союза писателей СССР, главным редактором журналов «Молодая гвардия» (1926–1928) и «Красная новь» (1932–1938), «Литературной газеты» (1946–1950), после войны стал доктором наук, профессором, баллотировался в Академию наук. Продолжая выступать как критик, Ермилов считался также теоретиком, создателем «боевой теории литературы», игравшей важнейшую роль в партийном руководстве литературным процессом 1948–1952 гг. [Добренко, Тиханов 2011: 405–406]. Свой самый печально известный поступок Ермилов совершил в январе 1947 г., инициировав новую волну травли тяжелобольного Андрея Платонова¹⁰. То, что человек, имевший устойчивую репутацию демагога и погромщика, много занимался Чеховым, представляет неразрешимую психологическую загадку. Остается только гадать, что в действительности думал и чувствовал Ермилов, когда в 1946 г. писал: «И чем яснее возникал в его мыслях и чувствах образ величия родной страны, тем больше было думать о том, что она отдана во власть палачей, тупиц, Пришибеевых, тем сильнее хотелось сказать, что *больше так жить нельзя!*» [Ермилов 1946: 228]. Как бы то ни было, в 1950 г. видный литературовед стал лауреатом Сталинской премии второй степени за две книги: «Чехов» (серия «ЖЗЛ», 1946) и «Драматургия Чехова» (1948); обе работы неоднократно переиздавались большими тиражами (в каждое издание автор вносил поправки, постепенно смягчая концепцию и убирая сталинские цитаты) и во многом определяли все последующие официальные суждения о классике.

⁹ Речь шла о лозунге, который Маяковский написал для постановки «Бани» в театре им. Мейерхольда: «Сразу / не выпарить / бюрократов рой. / Не хватит ни бань / и ни мыла вам. / А еще / бюрократам / помогает перо / критиков — / вроде Ермилова» [Маяковский 1958а: 350]. Разумеется, в сталинские годы отношение Ермилова к Маяковскому изменилось. Приведем, например, сравнение поэта с Чеховым из интересующей нас книги о Чехове 1946 г.: «Так прямо смотреть в глаза будущему, видеть его пристальный взгляд на самом себе, слышать его дыхание рядом с собой умел лучший, талантливейший поэт советской эпохи — Владимир Маяковский» [Ермилов 1946: 310].

¹⁰ См. перепечатку доноса Ермилова А. А. Жданову (1939) и статьи «Клеветнический рассказ А. Платонова» (1947) в издании [Корниенко, Шубина 1994: 428–429, 467–473]. Незадолго до смерти, в своем последнем интервью «Литературной газете», Ермилов покаялся, заявив, что «сожалеет о том, что не понимал Платонова и ошибочно выступал против него» [Корниенко, Шубина 1994: 72].

Здесь нужно сделать важное замечание. Ермиловские книги не состояли из одних только штампов и не были лишены таланта. Приведем только два высказывания на этот счет. Первое принадлежит редко говорившему о ком-то доброе слово И. А. Бунину: «В книге Ермилова попадаются места неплохие. Даже удивительно, что он написал о высказываниях Чехова» [Бунин 1955: 377]. Впрочем, более развернутое суждение Бунина (в передаче М. Алданова) звучит так: «Я только что прочел книгу В. Ермилова... Очень способный и ловкий (опускаю одно слово. — М. А.) — так обработал Ч., столько сделал выписок из его произведений и писем, что Ч. оказался совершеннейший большевик и даже “буревестник”, не хуже Горького, только другого склада...» [Бунин 1955: 17]. Высказалась о книге и М. П. Чехова в частном письме 1952 г.: «Книга Ермилова является бесспорно одним из лучших современных литературно-исследовательских трудов о Чехове» [Брагин 1969: 178–179]¹¹. По свидетельству А. Г. Головачевой, изучавшей пометки Марии Павловны на полях книги Ермилова, сестре писателя определенно нравилось, что вдруг оказалось возможным представить Чехова как буревестника революции, хотя при этом не нравились уничижительные характеристики отца как деспота.

Редкое сочетание литературного и риторического дара с готовностью всегда следовать за линией партии сделали эту книгу необыкновенно влиятельной — столь влиятельной, что многие ее положения продолжают бессознательно воспроизводиться до сих пор. «Ермиловский вариант» — это самый простой способ рассказать о Чехове на школьном уроке или в вузовской лекции, и тысячи преподавателей делают это до сих пор, может быть сами не ведая, что творят.

Главная смысловая оппозиция, на которой строилась ермиловская интерпретация чеховской биографии и творчества — это «интуитивное стремление к свободе» vs «подавляющая, исполненная насилия и препятствующая развитию социальная действительность»; последняя всерьез уравнивалась со сторожем Никитой из «Палаты № 6» [Ермилов 1946: 29], т. е. изображалась как чистое, беспримесное насилие. Разумеется, конечным «выводом из чеховских произведений» при таком подходе оказывалась «мысль о необходимости коренного изменения самой действительности, порождавшей и “воспитывавшей” столько плохого, мешавшей проявлению лучших свойств народа» [Ермилов 1946: 257]. Этот «вывод» сам автор увязывал с упоминавшимися выше воспоминаниями Горького о Чехове — и неслучайно. Чехов и Горький у Ермилова предстают близнецами-братьями: оба, родившись в мещанских семьях и с детства испытав тяжесть невежества и домашнего насилия, инстинктивно тянулись к свободе. Чехов, по Ермилову, боролся с мещанством уже с детских лет, пародируя авторитарный стиль семейных деспотов — отца и деда. Юмор Антоши Чехонте — это форма защиты от мрачного мира, религиозного воспитания, насилия, рабства, лжи, пошлости и ханжества. Осмеивая и отвергая «мещанские» антиценности одну за другой, Чехов постепенно становится свободным. Сама по себе эта мысль не лишена оснований (хотя и сильно гиперболизирована),

¹¹ В том же издании приводится краткая переписка М. П. Чеховой с Ермиловым, где последний объясняет истоки своего интереса к Чехову: в доме его отца царил культ Чехова, висели портреты писателя, и будущий критик с юных лет мечтал «написать такую книгу о Чехове, в которой было бы объяснено, чем Чехов дорог нам, советским людям» [Брагин 1969: 180]. Из того же письма следует, что Ермилов, учившийся в Москве в 6-м Миусском городском начальном училище, хорошо знал преподававших там до лета 1918 г. брата писателя Ивана Павловича и его жену Софью Владимировну.

но проблема в том, что для Ермилова это не столько приметы биографии отдельного человека, сколько внешнее проявление глубинных социальных процессов. Своеобразный ермиловский риторический дар проявлялся в способности постоянно связывать индивидуальное и общее, в данном случае — жизнь частного, всегда стремившегося к независимости человека и общественно-политические процессы, устремленные, согласно догмам марксизма-ленинизма, к неизбежной социалистической революции. Так, например, описывается разорение семьи Чеховых в 1876 г.; приведем цитату, отмечая в угловых скобках подспудный смысл: «Сбывалась мечта о свободе от деспотической воли отца <самодержавия>, от опостылевшей и, наконец, обанкротившейся лавочки <капитализма>, от всего душного уклада жизни семьи <прежних общественных отношений>. Правда, свобода пришла в неожиданном виде, смешалась с горем, бедой, с обидами, унижениями, нищетой <после-революционной разрухой>. Но все-таки это была свобода!» [Ермилов 1946: 40]. Так решалась «квадратура круга»: скорбный «певец безвременья» на глазах изумленного читателя превращался в «буревестника революции».

Однако у советского литературоведения имелась и другая риторическая задача (отчасти совпадавшая и с задачей дореволюционной критики): вписать Чехова в гуманистическую традицию русской литературы, поставить в один ряд с Пушкиным, Гоголем, Достоевским, Тургеневым, Толстым. Ермилов сразу находит опосредующее звено — тему «маленького человека» — и вопреки очевидности¹² утверждает, что Чехов не только отстаивает его достоинство, начиная с самых ранних рассказов, но и видит в нем «трудового человека», к которому питает «страстную любовь» [Ермилов 1946: 117]¹³. Последнее должен подтвердить анализ рассказа «Враги», где любимый Чеховым труженик (Кириллов) противопоставляется бездельнику-барину (Абогину) — однако не напрямую, как это сделали бы вульгарные социологи 1920-х, а через авторские описания обстановки: горе доктора выглядит по-человечески красиво, это то, что могла бы передать «только музыка», горе Абогина отталкивающе пошло, и в результате получается «рассказ о том, как человеческое горе было оскорблено пошлостью» [Ермилов 1946: 123]. Классовая ненависть, которую испытывает «рабочий» Кириллов к «барину» Абогину, приписывается самому Чехову, а примиряющий финал рассказа дезавуируется как временное заблуждение автора [Ермилов 1946: 127].

Итак, гуманизм и сочувствие к «маленькому человеку», «безграничная, беспредельная любовь к трудовому русскому человеку», ненависть к «мещанству» и «пошлости» — сильные стороны творчества Чехова. Однако была и слабая сторона: Чехов, отрицая действительность, не знал, куда вести своего читателя. Имен-

¹² Вспомним, что Чехов вполне осознанно противостоял сентиментально-мелодраматической традиции изображения «маленького человека» в русской литературе; ср. его письмо брату Александру от 4 января 1886 г.: «Брось ты, сделай милость, своих угнетенных коллежских регистраторов! Неужели ты нюхом не чувствуешь, что эта тема уже отжила и нагоняет зевоту? <...> Реальнее теперь изображать коллежских регистраторов, не дающих жить их п<ревосходительств>вам» [Чехов 1974–1983, Письма, т. 1: 178]. К моменту написания этого письма (1886) Чеховым было создано уже более 50 рассказов о чиновниках, где негативно изображается, как правило, не «значительное лицо», а именно «маленький человек», причем второй часто не дает жить первому только потому, что сверх меры усердствует в своем работе.

¹³ Гимн «трудоному человеку» восходит к воспоминаниям Горького о Чехове: «Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне, как А. П.» [Горький 1986: 451].

но здесь в советском дискурсе всплывает один из топосов народнической критики о не знающем пути и тоскующем по «общей идее» писателе, однако совсем в другой аранжировке¹⁴. По Ермилову, Чехов не мог не презирать крохоборческие «идеалы» народников и либералов, но не имел представления о марксизме и потому оставался аполитичным «из чувства бесплодности всей известной ему “политики”» [Ермилов 1946: 187]. Такая позиция предполагает, что все идеи героев примерно равны для автора, и это можно истолковать в горьковском духе как «взгляд сверху» на скуку, нелепости и хаос жизни¹⁵. Однако анализируя конкретные чеховские тексты, содержащие общественно значимые споры, Ермилов (как и все его дореволюционные предшественники) неизменно находит правых и виноватых: антигерои обнаруживаются во «Врагах» (Абогин), в «Соседях» (Власич), в «Доме с мезонином» (Лида) и в «Моей жизни» (доктор Благово)¹⁶. Каждый раз Ермилов в маске Чехова кого-то разоблачает: народнических «сусликов» и «сектантов», «надежды на кустарные артели и сыроварни», «мелкотравчатость земского либерализма» и т. п. В результате хлесткие «рапповские» формулировки бьют по тем самым народникам и либералам, которые стояли у истоков интерпретации Чехова, подхваченной советским литературоведением.

Следует Ермилов и другой давней критической традиции — искать близкого автору положительного героя там, где его нет. Однако если дореволюционные истолкователи довольно часто признавались в своей бессилии решить эту задачу (отсюда тезис о «безгеройном» мире Чехова, о его «всепрощающей жалости» и сочувствии слабым людям и т. д.), то советский интерпретатор легко находит идеал в том самом якобы возвеличенном Чеховым «трудовом человеке». Сделать это невозможно без одного интерпретативного приема, к которому постоянно прибегали и предшественники Ермилова из числа презираемых им народников и либералов: приписывания автору оценочной позиции и слов кого-нибудь из героев. Так, например, чтобы Дымов из «Попрыгуньи» превратился в «великого человека», исследователю надо солидаризироваться с точкой зрения героини: «Она проглядела, “пропрыгала” главное, не поняла ни красоты, ни силы Дымова, не сумела увидеть *необыкновенное в обыкновенном*» [Ермилов 1946: 251] и выдать слова о Дымове его товарища, доктора Коростелева, за чеховские.

Напомним в связи с этим слова самого Чехова, адресованные тем, кто отождествлял даже самые «симпатичные» мысли героя с авторскими: «Для меня как автора все эти мнения по своей сущности не имеют никакой цены. Дело не в сущности их; она переменчива и не нова. Вся суть в природе этих мнений, в их зависимости от внешних влияний и проч. Их нужно рассматривать как вещи, как симптомы, совершенно объективно, не стараясь ни соглашаться с ними, ни оспаривать их» [Чехов 1974–1983, Письма, т. 3: 266]. Однако такой подход для социологической

¹⁴ Впрочем, тезисы Михайловского и его последователей о Чехове — выразителе отсутствия «общей идеи» в раздробленном на частички обществе конца XIX в. — Ермилов повторяет почти дословно [Ермилов 1946: 216].

¹⁵ Ср.: «Его упрекали в отсутствии мирозерцания. Нелепый упрек! <...> У Чехова есть нечто большее, чем мирозерцание, — он овладел своим представлением о жизни и таким образом стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения» [Горький 2002: 329–330].

¹⁶ Столь же резко проводится деление на друзей и врагов в окружении Чехова: глава об А. С. Суворине называется «Ласковый враг».

критики — как дореволюционной, так и советской — абсолютно неприемлем. Приведенной цитаты нельзя найти ни у Ермилова, ни у других советских авторов. Чехов у них всегда говорит «устаами» кого-то из своих героев, и чем радикальнее этот герой в отрицании «исполненной насилия» действительности, тем ближе он автору. Это приводит Ермилова и других к парадоксальному отождествлению Чехова со вспыльчивым, горячим и недалеким ветеринарным врачом Иваном Ивановичем Чимшой-Гималайским из «маленькой трилогии»: именно этот персонаж произносит единственную во всем корпусе чеховских текстов революционную фразу: «...нет, больше жить так невозможно!» — и призывает «перескочить через ров»¹⁷. Дойдя до этого кульминационного пункта концепции, остается согласиться с Буниным: Чехов у Ермилова здесь «совершеннейший большевик и даже “буревестник”, не хуже Горького».

Ермилов в конце 1940-х гг. баллотировался в члены-корреспонденты АН СССР, однако избран не был. Зато это научное звание получил («по должности» директора Института мировой литературы им. А. М. Горького) другой чеховед-громщик — Г. П. Бердников (1915–1996). После публикации документального исследования П. А. Дружинина «Идеология и филология» [Дружинин 2012] эта полузабытая фигура снова привлекла к себе внимание: Бердников был назначенцем, который сначала в качестве парторга, а потом декана филологического факультета ЛГУ занимался проработкой «безродных космополитов» — Б. М. Эйхенбаума, В. М. Жирмунского, М. К. Азадовского и др., в том числе своего научного руководителя Г. А. Гуковского и оппонента на защите кандидатской диссертации Г. А. Бялого. Подробная и подкрепленная документами характеристика «холодного карьериста» Бердникова в книге Дружинина не нуждается в дополнениях [Дружинин 2012: 162–168]. Скажем только несколько слов о Бердникове-чеховеде¹⁸. Бердников не обладал ни публицистическими, ни художественными, ни риторическими талантами Ермилова. Главная интенция его книг — поместить Чехова в контекст всего того, что уже принято и разрешено в советской версии истории русского реализма: Чехов здесь неизменно следует по пятам канонизированных этой историей писателей (М. Е. Салтыкова-Щедрина, Г. И. Успенского, В. Г. Короленко, В. М. Гаршина) и полемизирует с Л. Н. Толстым, Н. Г. Гариным-Михайловским или легальными марксистами именно по тем вопросам, по которым с ними полемизировал Ленин. Новым и специфичным оказывается только то, что у Бердникова расширяется круг чеховских «врагов»: это уже не только «сытые каплуны», мещане и обыватели, но и «представители» различных вредных идеологий. Так обстоит дело, например, с фон Кореном из чеховской «Дуэли», идеи которого Бердников напрямую связывает с социал-дарвинизмом, а это течение мысли, в свою очередь и за счет риторической подмены, — с реалиями текущей действительности: «...для Чехова эти теории, отражающие характерные черты эпохи, имели весьма реальный жизненный смысл. Практика, которую Чехов недавно наблюдал на “каторжном острове”, с полным основанием могла быть расценена им как прямое воплощение в жизни фонко-

¹⁷ «“Больше так жить невозможно!” — вот настроение Чехова второй половины девяностых годов, выраженное в словах ветеринарного врача Иван Ивановича» [Ермилов 1946: 276].

¹⁸ Бердников интересуется нас в данном случае как официально признанный чеховед, о чем свидетельствует то, что он, как и Ермилов, получил за свою главную книгу о Чехове Государственную премию (1985).

реновской идеи о необходимости физического подавления людей, по его мнению вредных и неполноценных» [Бердников 1984: 269]. Столь же резко, как и враги, акцентируются рупоры чеховского голоса: в предвестники революции попадают не только Петя Трофимов и Надя Шумина из «Невесты», но даже некоторые герои «Трех сестер» — тоскующие по «очистительной буре» и светлому будущему Тузенбах, Вершинин и сестры Прозоровы [Бердников 1984: 419]. Бердниковские интерпретации более чем традиционны, они исходят из представлений о когерентных, завершенных, цельных, избыточных текстах с четко выраженным ценностным центром (который, собственно, и эксплицировался советскими концепциями). Другими словами, они прямо противоположны своему объекту — нарушающим именно эти законы чеховским текстам с их открытыми финалами, «лишними» деталями, отсутствием причинно-следственных зависимостей на всех уровнях и апофатической ценностной установкой: «Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь — мы не знаем» [Чехов 1974–1982, Письма, т. 3: 186]. Не случайно именно Бердников обрушился с самой жесткой критикой на книгу Чудакова «Поэтика Чехова» (1971), где впервые было прямо указано на все эти «модернистские» отклонения Чехова от традиции, обвинив своего подчиненного по ИМЛИ прежде всего в «согласии с враждебной Чехову критикой», в том, что его книга «перенасыщена ссылками на Буренина, Говоруху-Отрока, Дистерло, Мережковского» [Бердников 1975: 375]¹⁹.

Как мы видим, круг замыкается: некогда заимствованные и переработанные «способным и ловким» сталинистом Ермиловым положения прижизненной чеховской критики у типичного среднего (хотя и занимающего важное кресло) литературоведа застойного времени превращаются в догмы, с помощью которых побивается новатор, который, в свою очередь, черпает идеи все из того же источника — прижизненной чеховской критики²⁰. Эта странная логика «ресайклинга» убеждает в том, что история «советского Чехова» может быть интересна не только главным парадоксом, состоящим в том, что тончайшим, неуловимым, ускользающим от любых прямолинейных оценок и исследовательских методов писателем занимались вооруженные допотопными инструментами погромщики, но и тем, что именно их работы показывают закономерности переработки хорошо забытых и казалось бы навсегда отброшенных старых идей.

Источники

- Арцыбашев 1908 — Арцыбашев М. П. О смерти Чехова. В кн.: *Литературный календарь-альманах*. СПб.: Тип. Я. Левенштейн, 1908. С. 79–82.
- Брагин 1969 — *Хозяйка чеховского дома: Воспоминания. Письма*. Брагин С. Г. (сост.). Симферополь: Крым, 1969. 231 с.
- Бунин 1955 — Бунин И. А. *О Чехове*. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. 412 с.
- Воровский 1905 — Воровский В. В. Лишние люди. *Правда*. 1905, (7): 113–144.

¹⁹ По устным воспоминаниям самого А. П. Чудакова и его коллег, впоследствии Бердников, пользуясь положением директора ИМЛИ, делал все от него зависящее, чтобы испортить жизнь молодому ученому: от запрета на зарубежные поездки до лишения премии.

²⁰ История на этом не заканчивается. Чеховеды уже 50 лет спорят с концепцией А. П. Чудакова, без конца доказывая, что те элементы текстов, которые ученый считал «случайностями», на самом деле функциональны. Таким образом они повторяют ту стадию «эволюции Михайловского», к которой он пришел после обнаружения тематической доминанты (см. выше о рассказе «Муж»).

- Горький 1950 — Горький М. *Полное собрание сочинений*. В 30 т. Т. 5. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1950.
- Горький 1952 — Горький М. *Полное собрание сочинений*. В 30 т. Т. 17. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1952.
- Горький 1986 — Горький М. А. П. Чехов. В кн.: *Чехов в воспоминаниях современников*. М.: Художественная литература, 1986. С. 439–456.
- Ермилов 1946 — Ермилов В. В. *Чехов*. Сер.: Жизнь замечательных людей. М.: Молодая гвардия, 1946. 448 с.
- Зайцев 2021 — Зайцев В. С. *Товарищ Чехов. Очерки по истории советского чеховедения 1920–1950-х годов* (рукопись).
- Куприн 1905 — Куприн А. И. Памяти А. П. Чехова. *Наша жизнь*. 1905. 2 июля. <https://avidreaders.ru/read-book/pamyati-chehova.html> (дата обращения: 01.02.2021).
- Маяковский 1958а — Маяковский В. В. *Полное собрание сочинений*. В 13 т. Т. 11. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1958.
- Маяковский 1958б — Маяковский В. В. Предсмертное письмо. В кн.: *Новое о Маяковском*. (Лит. наследство. Т. 65). М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1958. С. 199–202.
- Михайловский 1890 — Михайловский Н. К. Письма о разных разностях. *Русские ведомости*. 1890 (104), 18 апреля.
- Михайловский 1900 — Михайловский Н. К. Кое-что о г. Чехове. *Русское богатство*. 1900 (4): 119–140.
- Перцов 1893 — Перцов П. П. Изъяны творчества. *Русское богатство*. 1893 (1): 47–71.
- Чехов 1974–1983 — Чехов А. П. *Полное собрание сочинений и писем*. В 30 т. Письма: в 12 т. М.: Наука, 1974–1983.

Литература

- Бердников 1975 — Бердников Г. П. О поэтике Чехова и принципах ее исследования. В кн.: Бердников Г. П. *Над страницами русской классики*. М.: Современник, 1975. С. 353–377.
- Бердников 1984 — Бердников Г. П. А. П. Чехов: идейные и творческие искания. М.: Художественная литература, 1984. 511 с.
- Бушканец 2012 — Бушканец Л. Е. «Он между нами жил...»: А. П. Чехов и русское общество конца XIX — начала XX века. Казань: Казанский университет, 2012. 755 с.
- Бушканец 2013 — Бушканец Л. Е. А. П. Чехов и русское общество 1880–1917 гг. *Формирование литературной репутации*. Дисс. ... д-ра филол. наук. М., 2013. 630 с.
- Бялый 1946 — Бялый Г. А. К вопросу о русском реализме конца XIX века. В кн.: *Труды юбилейной научной сессии ЛГУ*. Серия филологических наук. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1946. С. 294–317.
- Горький 2002 — Горький М. Литературные заметки. По поводу нового рассказа А. П. Чехова «В овраге». В кн.: А. П. Чехов: *pro et contra*. *Творчество А. П. Чехова в русской мысли конца XIX — нач. XX в.: Антология*. СПб.: Издательство Изд-во Рус. Христиан. гуманитар. ин-та, 2002. С. 329–330.
- Добренко, Тиханов 2011 — *История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи*. Добренко Е., Тиханов Г. (ред.). М.: Новое литературное обозрение, 2011. 791 с.
- Дружинин 2012 — Дружинин П. А. *Идеология и филология*. В 2 т. Т. 2. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 702 с.
- Дурылин 1948 — Дурылин С. Н. Художественный театр и советская сцена. *Театр*. 1948, (10): 11–12.
- Корниенко, Шубина 1994 — Андрей Платонов. *Воспоминания современников: Материалы к биографии*. Корниенко Н. В., Шубина Е. Д. (сост.). М.: Современный писатель, 1994. 494 с.
- Ошарова 1960 — Ошарова Т. В. *Библиография литературы о А. П. Чехове*. Вып. 1. 1960 юбилейный год. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1979. 261 с.
- Полоцкая 1981 — Полоцкая Э. А. Чехов (личность, творчество). В кн.: *Время и судьбы русских писателей*. М.: Наука, 1981. С. 282–343.
- Протопопов 1892 — Протопопов М. А. Жертва безвременья. *Русская мысль*. 1892, (6): 95–122.
- Розанов 2002 — Розанов В. В. Наш «Антоша Чехонте». В кн.: А. П. Чехов: *pro et contra*. *Творчество А. П. Чехова в русской мысли конца XIX — нач. XX в.: Антология*. СПб.: Изд-во Рус. Христиан. гуманитар. ин-та, 2002. С. 866–871.
- Семанова 1966 — Семанова М. Л. *Чехов и советская литература (1917–1935)*. М.: Советский писатель; Л.: [б. и.], 1966. 309 с.

- Семанова 1985 — Семанова М. Л. А. П. Чехов в отзывах советских писателей и в их жизни. *Русская литература*. 1985 (3): 85–103.
- Скафтымов 1946 — Скафтымов А. П. О единстве формы и содержания в «Вишневом саде» Чехова. В кн.: *Ученые записки Саратовского педагогического института*. 1946, (VIII): 3–38.
- Сухих 2010 — Сухих И. Н. Сказавшие «О!» Потомки читают Чехова. В кн.: *А. П. Чехов: pro et contra. Личность и творчество А. П. Чехова в русской мысли XX века (1914–1960). Антология*. Т. 2. СПб.: Изд-во Рус. Христиан. гуманитар. акад., 2010. С. 7–44.
- Чудаков 1971 — Чудаков А. П. *Поэтика Чехова*. М.: Наука, 1971. 291 с.
- Чудаков 1986 — Чудаков А. П. *Мир Чехова: Возникновение и утверждение*. М.: Советский писатель, 1986. 379 с.
- Dika 2003 — Dika V. *Recycled Culture in Contemporary Art and Film: the uses of nostalgia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 254 p.
- Guffey 2006 — Guffey E. *Retro. The Culture of Revival*. London: Reaktion Books, 2006. 224 p.
- Kalaga et al. 2008 — *Repetition and Recycling in Literary and Cultural Dialogues*. Kalaga W., Kubisz M., Mydlą Ja. (eds). Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2008. 158p.
- Marovitz 1991 — Marovitz Ch. *Recycling Shakespeare*. London: Macmillan, 1991. 192 p.
- Neville, Villeneuve 2002 — *Waste-Site stories : the Recycling of Memory*. Neville B., Villeneuve J. (eds). New York: State University of New York Press, 2002. 259 p.

Статья поступила в редакцию 6 июля 2021 г.
Статья рекомендована к печати 13 сентября 2021 г.

Andrei D. Stepanov

St. Petersburg State University,
7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russia
a.d.stepanov@spbu.ru

From the Poet of Stagnation to the Prophet of Revolution: Metamorphoses of Anton Chekhov's reception*

For citation: Stepanov A. D. From the *Poet of Stagnation* to the *Prophet of Revolution*: Metamorphoses of Anton Chekhov's reception. *Vestnik of Saint Petersburg University. Language and Literature*. 2021, 18 (4): 680–696. <https://doi.org/10.21638/spbu09.2021.403> (In Russian)

The article traces the reception of Chekhov's image and works from 1880–1900s, and its continuation in Stalinist culture. The transitional (from realism to modernism) nature of Chekhov's works initially forced 19th century critics to negatively assess the “lack of ideology” and the “accidentality” of his poetics, and later to present Chekhov as an exponent of “longing for a common idea” and “a fighter against vulgarity”. The claims that Chekhov was outdated or, conversely, becoming relevant, were strictly correlated with the periods of stagnation/revolutionary activity. Similar patterns can be observed in Soviet criticism. In the 1920s, anti-Chekhovian moods were fairly characteristic for avant-garde artists, as well as representatives of the vulgar sociological method who criticized him harshly. After WWII, critics tried to present the “pessimistic” and sophisticated author as a bearer of Soviet dogmas and a predecessor of Soviet literature. For example, Vladimir Ermilov's works used rhetorical strategies based on the opposition of “intuitive striving for freedom” vs “suppressive social reality”, which led Chekhov to the conclusion about the need for radical social changes. With the help of such rhetorical devices, the mournful “singer of stagnation” was transformed into a “prophet of revolution”. The task of connecting Chekhov to the humanistic tradition was solved by ascrib-

* The study was prepared with the support of the Russian Science Foundation (project 21-18-00527 “Literature of the ‘transitional eras’ as a tool for the modernization of social ties”) at the Institute of Russian Literature of the Russian Academy of Sciences.

ing to him sympathy for the “little man” and “working man”. All such substitutions were done by equating the author’s and his heroes’ evaluative position. Many features of the “Soviet” Chekhov image can be traced back to Chekhov’s lifetime criticism, and therefore the outdated works of Soviet scholars can serve a clear example of cultural recycling, in which seemingly abandoned old ideas are reworked anew.

Keywords: Anton Chekhov, reception, history of criticism, Vladimir Ermilov.

References

- Бердников 1975 — Berdnikov G. P. On the poetics of Chekhov and the principles of its research. In: Berdnikov G. P. *Nad stranitsami russkoi klassiki*. Moscow: Sovremennik Publ., 1975. P.353–377. (In Russian)
- Бердников 1984 — Berdnikov G. P. *A. P. Chekhov: the ideological and creative search*. Moscow: Khudozhestvennaia literatura Publ., 1984. 511 p. (In Russian)
- Бушканец 2012 — Bushkanets L. E. “He lived among us...”: *A. P. Chekhov and Russian society of the late 19th — early 20th century*. Kazan, Kazanskii universitet Publ., 2012. 755 p. (In Russian)
- Бушканец 2013 — Bushkanets L. E. *A. P. Chekhov and Russian society 1880–1917. Formation of a literary reputation*. Thesis for D. Sc. in Philological Sciences. Moscow, 2013. 630 p. (In Russian)
- Бялый 1946 — Byalyy G. A. On the question of Russian realism at the end of the 20th century. In: *Trudy iubileynoi nauchnoi sessii LGU*. Ser.: filologicheskikh nauk. Leningrad: Leningrad University Press, 1946. P.294–317. (In Russian)
- Горький 2002 — Gor’kiy M. Literary notes. Concerning the new story by A. P. Chekhov “In the ravine”. In: *A. P. Chekhov: pro et contra. Tvorchestvo A. P. Chekhova v russkoy mysli kontsa XIX — nachala XX v.: Antologiya*. St. Petersburg: Izdatel’stvo Russkogo Khristianskogo gumanitarnogo instituta Publ., 2002. P.329–330. (In Russian)
- Добренко, Тиханов 2011 — *The history of Russian literary criticism: Soviet and Post-Soviet era* Dobrenko E., Tikhonov G. (eds). Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2011. 791 p. (In Russian)
- Дружинин 2012 — Druzhinin P. A. *Ideology and philology*. In 2 vols. Vol. 2. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2012. 702 p. (In Russian)
- Дурылин 1948 — Durylin S. N. Theatre and Soviet stage. *Teatr*, 1948 (10): 11–12. (In Russian)
- Корниенко, Шубина 1994 — Andrey Platonov. Memoirs of contemporaries. *Materials for a biography*. Korniyenko N. V., Shubina E. D. (eds). Moscow: Sovremenniy pisatel’ Publ., 1994. 494 p. (In Russian)
- Ошарова 1960 — Osharova T. V. *Bibliography of literature about A. P. Chekhov*. 1960, Iss. 1. Anniversary year. Saratov: Izdatel’stvo Saratovskogo universiteta Publ., 1979. 261 p. (In Russian)
- Полоцкая 1981 — Polotskaya E. A. Chekhov (personality, creativity). In: *Vremia i sud’by russkikh pisatelei*. Moscow: Nauka Publ., 1981. P.282–343. (In Russian)
- Протопопов 1892 — Protopopov M. A. Victim of Timelessness. In: *Russkaia mysl’*. 1892 (6): 95–122.
- Розанов 2002 — Rozanov V. V. Our “Antosha Chekhonte”. In: *A. P. Chekhov: pro et contra. Tvorchestvo A. P. Chekhova v russkoi mysli kontsa 19 — nachala 20 vv.: antologiya*. St. Petersburg: Izdatel’stvo Russkogo Khristianskogo gumanitarnogo instituta Publ., 2002. P.866–871. (In Russian)
- Семанова 1966 — Semanova M. L. *Chekhov and Soviet literature (1917–1935)*. Moscow: Sovetskii pisatel’ Publ.; Leningrad: [No publisher], 1966. 309 p. (In Russian)
- Семанова 1985 — Semanova M. L. A. P. Chekhov in the reviews of Soviet writers and in their lives. In: *Russkaia literatura*. 1985 (3): 85–103. (In Russian)
- Скафтымов 1946 — Skaftymov A. P. On the unity of the form and content in Chekhov’s “The cherry Orchard”. In: *Uchenye zapiski Saratovskogo pedagogicheskogo instituta*. 1946 (VIII): 3–38. (In Russian)
- Сухих 2010 — Sukhikh I. N. Those who said “Oh!”. Descendants read Chekhov. In: *A. P. Chekhov: pro et contra. Lichnost’ i tvorchestvo A. P. Chekhova v russkoy mysli XX veka (1914–1960). Antologiya*. T. 2. St. Petersburg: Izdatel’stvo Russkoi Khristianskoi gumanitarnoi akademii Publ., 2010. P.7–44. (In Russian)
- Чудаков 1971 — Chudakov A. P. *Poetics of Chekhov*. Moscow: Nauka Publ., 1971. 291 p. (In Russian)
- Чудаков 1986 — Chudakov A. P. The world of Chekhov: emergence and affirmation. Moscow: Sovetskii pisatel’ Publ., 1986. 379 p. (In Russian)

- Dika 2003 — Dika V. *Recycled Culture in Contemporary Art and Film: the uses of nostalgia*. Cambridge: Cambridge UP, 2003. 254 p.
- Guffey 2006 — Guffey E. *Retro. The Culture of Revival*. London: Reaktion Books, 2006. 224 p.
- Kalaga et al. 2008 — *Repetition and Recycling in Literary and Cultural Dialogues*. Kalaga W., Kubisz M., Mydlą Ja. (eds). Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2008. 158 p.
- Marovitz 1991 — Marovitz Ch. *Recycling Shakespeare*. London: Macmillan, 1991. 192 p.
- Neville, Villeneuve 2002 — *Waste-Site stories: the Recycling of Memory*. Neville B., Villeneuve J. (eds). New York: State University of New York Press, 2002. 259 p.

Received: July 6, 2021

Accepted: September 13, 2021